

I

Эта книга — не автобиография и не мемуары. Все, что случилось со мною в жизни, я так или иначе использовал в своих произведениях. Бывало, что какое-нибудь мое переживание служило мне темой и я выдумывал ряд эпизодов, чтобы выявить ее; но чаще я брал людей, с которыми был близко или хотя бы слегка знаком, и на их основе создавал своих персонажей. Факты и вымысел в моих книгах так перемешаны, что сейчас, оглядываясь назад, я не всегда могу отличить одно от другого. Записывать факты, которые я уже употребил с большей пользой, мне было бы неинтересно, даже если бы я мог их припомнить. К тому же они показались бы очень пресными. Я прожил разнообразную, временами очень интересную жизнь, но приключениями она не богата. У меня плохая память. Анекдоты я помню, только пока мне их рассказывают, а потом забываю, не успев пересказать другим. Я никогда не запоминал даже собственных шуток, почему и был лишен возможности повторять их.

И я понимаю, что этот недостаток умаляет удовольствие от общения со мною.

Я никогда не вел дневника. Теперь я жалею, что не делал этого, когда впервые добился успеха как драматург: в тот год я встречался со многими незаурядными людьми, и мои записи могли бы представить собою интересный документ. То было время, когда вера народа в аристократию и земельное дворянство рухнула из-за бездарности, проявленной ими в Южной Африке, но аристократы и дворяне-землевладельцы еще не поняли этого, и самоуверенность их ничуть не уменьшилась. В домах некоторых политических деятелей, где мне довелось бывать, они все еще говорили так, словно управление Британской империей было их личным делом. Помню, с каким странным чувством я слушал их рассуждения насчет того, отдать ли после всеобщих выборов министерство внутренних дел Тому и удовлетворится ли Дик Ирландией. Едва ли кто-нибудь сейчас читает романы миссис Хэмфри Уорд, но, как они ни скучны, они, сколько помнится, дают хорошее представление о жизни правящего класса того времени. Эта жизнь все еще очень интересовала романистов, и даже писатели, в глаза не видевшие лорда, считали своим долгом писать по преимуществу о знати. Взглянув на тогдашние театральные афиши, всякий поразился бы количеству титулованных персонажей. Директора театров считали, что такие персонажи привлекают публику, актеры любили изображать их. Но по

мере того как политическое значение аристократии сходило на нет, публика все меньше интересовалась ею. Зрители уже согласны были видеть на сцене людей своего собственного класса — богатое купечество и профессионалов-интеллигентов, вершивших в то время дела страны; и понемногу вошло в силу неписаное правило — не вводить в литературное произведение титулованных особ, если того не требовала тема. Заинтересовать публику жизнью низших классов было тогда еще невозможно. Романы и пьесы, посвященные им, встречали с брезгливым высокомерием. Теперь, когда эти классы стали политической силой, интересно, проявит ли широкая публика такой же интерес к их жизни, какой она так долго проявляла к титулованной знати, а некоторое время и к наиболее обеспеченным кругам буржуазии.

В те годы я познакомился с несколькими людьми, которые в силу своего рождения, известности или положения в обществе вполне могли считать себя предназначенными на роль исторических личностей. Они оказались не такими блестящими, как я думал. Англичане — нация политиков, и меня часто приглашали в дома, где политикой интересовались превыше всего. У видных государственных мужей, которых я там встречал, я не обнаружил выдающихся талантов. Из этого я сделал вывод, возможно опрометчивый, что для управления страной не требуется большого ума. Позднее я знал в разных странах немало политических деятелей, достигших высо-

ких постов, и тоже бывал поражен тем впечатлением интеллектуального убожества, какое они на меня производили. Они были плохо осведомлены в самых простых житейских вопросах, и лишь очень редко я обнаруживал у них тонкий ум или живость воображения. Одно время я склонялся к мысли, что своим видным положением они обязаны исключительно дару слова, поскольку в демократическом обществе человек, в сущности, не может достичь власти, если он не умеет захватить аудиторию; а дар слова, как известно, не часто сочетается с силой мышления. Но дело, видимо, не в этом, поскольку некоторые деятели, не казавшиеся мне особенно умными, вели государственные дела вполне успешно. Надо полагать, что для управления страной требуется специфический талант, совершенно не зависящий от общей талантливости. Я знал и деловых людей, которые наживали большие состояния и возглавляли крупные, процветающие предприятия, но во всем, что не касалось их дела, не могли проявить хотя бы здравого смысла.

И разговоры, которые я тогда слышал, обманули мои ожидания. Они редко давали много пищи для ума. Велись они легко, хотя и не всегда весело; были приятны и поверхностны. Серьезных тем не касались — считалось, что обсуждать их в обществе неудобно; а «профессиональными» разговорами эти люди опасались нарушить хороший тон и потому не говорили о том, что их больше всего интересовало. Сколько я мог

судить, разговор сводился к пристойному злословию, но не часто доводилось услышать в нем остроту, которую стоило бы повторить. Впору было подумать, что единственное назначение культуры — это научить людей болтать глупости с важным видом. Самым, пожалуй, интересным, неизменно занимательным собеседником, какого я встречал, был Эдмунд Госсе. Он очень много читал, хотя, видимо, не слишком внимательно, и в разговоре так и сверкал умом. У него была потрясающая память, тонкое чувство юмора, лукавство. Он близко знал Суинберна и увлекательно рассказывал о нем, но и о Шелли, с которым он уж никак не мог быть знаком, он умел говорить как о закадычном друге. В течение многих лет он общался со всякими известными людьми. Я думаю, что он был тщеславным человеком и наблюдать их слабости и причуды доставляло ему удовольствие. Я убежден, что в его рассказах они были гораздо занятнее, чем в жизни.

II

Меня всегда поражало, почему люди так стремятся к знакомству со знаменитостями. Prestиж, который знакомство со знаменитым человеком создает вам в глазах ваших приятелей, доказывает только, что сами вы немножко стóбите. Знаменитости вырабатывают особую технику общения с простыми смертными. Они показывают миру маску, нередко убедительную, но старатель-

но скрывают свое настоящее лицо. Они играют роль, которой от них ожидают, и постепенно выучиваются играть ее очень хорошо, но глупо было бы воображать, что актер играет самого себя.

В моей жизни было несколько человек, к которым я был привязан, глубоко привязан; но людьми вообще я интересуюсь не ради них, а ради моей работы. В каждом человеке я, игнорируя завет Канта, вижу не самоцель, а материал, который может пригодиться мне как писателю. И безвестные люди занимают меня больше, чем известные. Они чаще бывают самими собой. Им не нужно изображать кого-то, чтобы защититься от мира или поразить его воображение. В ограниченной сфере их деятельности индивидуальные их свойства легче могут развиваться, и поскольку они не находятся в центре внимания, им не приходит в голову, что они должны что-то скрывать. Они открыто проявляют свои чудачества, потому что не знают за собой ничего чудного. И ведь в конце концов нам, писателям, приходится иметь дело с обыкновенными людьми; короли, диктаторы, промышленные магнаты, с нашей точки зрения, мало чем могут порадовать. Сколько раз писатели поддавались искушению писать о них, но неудачи, которыми кончались такие попытки, показывают, что это личности слишком исключительные, чтобы брать их в основу произведения искусства. Их нельзя сделать реальными. Область обыкновенного куда богаче для писателя. Ее неожиданность, неповторимость, ее бес-

конечное разнообразие дают ему неисчерпаемый материал. Великий человек слишком часто бывает сделан из одного куска; маленький человек — это клубок противоречивых элементов. Он неистощим. Нет конца сюрпризам, которые у него припасены для вас. Я лично куда охотнее провел бы месяц на необитаемом острове с ветеринаром, чем с премьер-министром.

III

В этой книге я постараюсь привести в порядок свои мысли о предметах, которые больше всего занимали меня на протяжении моей жизни. До сих пор выводы, к которым я пришел, носились у меня в голове, как обломки корабля в бурном море. Мне все казалось, что, закрепив их на бумаге в известной последовательности, я отчетливее увижу, в чем они состоят, и смогу объединить их в нечто целое. Я уже давно подумывал о том, чтобы заняться этим, и не раз, отправляясь в долгое путешествие, решал, что вот теперь для этого наступило самое подходящее время. Но меня всегда захлестывало столько впечатлений, я видел столько нового, встречал столько людей, завладевавших моим воображением, что некогда было спокойно подумать. Я так интенсивно жил настоящим, что, хоть убей, не мог настроиться на интроспективный лад.

Отпугивала меня также нудная задача непосредственно излагать мои собственные мысли.

Ибо хотя я часто писал от первого лица, но писал как автор романов и рассказов, а стало быть, в какой-то мере мог считать себя одним из персонажей. В силу долголетней привычки мне удобнее высказываться через посредство вымышленных мною людей. Решать, что они подумали бы, мне легче, чем решить, что думаю я сам. Первое всегда доставляло мне радость; второе было тяжелым трудом, который я с готовностью откладывал на завтра. Но больше откладывать нельзя. В молодости годы тянутся перед нами бесконечно длинной вереницей, и трудно осознать, что они когда-нибудь минуют; даже в среднем возрасте, при нормальной в наши дни жадности к жизни, легко найти предлог, чтобы не делать того, что нужно бы сделать, но не хочется. Но наконец наступает время, когда требует к себе внимания смерть. Один за другим уходят сверстники. Мы знаем, что все люди смертны (Сократ был человеком, следовательно... и так далее), но это, в сущности, остается для нас силлогизмом и абстракцией до тех пор, пока мы не бываем вынуждены признать, что по ходу вещей и наш конец уже не за горами. Просматривая иногда сообщения о смерти в «Таймс», я пришел к мысли, что шестьдесят лет — очень нездоровый возраст; а так как я уже давно знаю, что мне было бы очень досадно умереть, не написав этой книги, то, пожалуй, надо браться за нее немедленно. Закончив ее, я смогу безмятежно смотреть в будущее — труд моей жизни будет закончен. Я не могу больше убеждать себя,

что не готов для этой работы: уж если у меня до сих пор не сложилось мнение о том, что кажется мне всего важнее, едва ли оно когда-нибудь сложится. Я рад собрать наконец воедино все мысли, которые так долго плавали вразброд в том или ином уголке моего сознания. Записав их, я с ними покончу и освобожу свою голову для другого — ведь я надеюсь, что это будет не последняя моя книга. Человек не умирает сейчас же после того, как составит завещание; завещание составляют на всякий случай. Привести свои дела в порядок — это хорошая подготовка к тому, чтобы прожить остаток дней без забот о будущем. Закончив эту книгу, я буду знать, чего держаться. И тогда я могу поступить как угодно с теми годами жизни, которые мне еще отпущены.

IV

Разумеется, я скажу здесь много такого, что уже говорил раньше, поэтому я и назвал книгу: «Подводя итоги». Когда судья подводит итоги дела, он вновь останавливается на фактах, которые прошли перед присяжными, и комментирует речи обвинителя и защитника. Новых свидетельств он не приводит. И поскольку всю свою жизнь я вложил в свои книги, многое из того, что я хочу сказать, естественно, нашло себе в них место. Едва ли в сфере моих интересов найдется предмет, которого я бы уже не касался либо всерьез, либо в шутку. Сейчас я могу лишь попытаться дать бо-

лее или менее стройную картину моих взглядов и мнений и, может быть, кое-где развить более подробно ту или иную мысль, которую раньше только бросил в виде намека, сообразуясь с ограничениями, какие налагают законы прозы и драматургии.

Эта книга по необходимости будет эгоцентрична. В ней говорится о предметах, которые важны для меня, и в ней говорится обо мне, поскольку я могу трактовать эти предметы только так, как я их воспринимаю. Но это не описание моей жизни. У меня нет ни малейшего желания обнажать свою душу, и я не намерен вступать с читателем в слишком интимные отношения. Есть вещи, которые я предпочитаю держать про себя. Никто не может рассказать о себе всю правду. Тем, кто пытался открыть себя людям, не только самолюбие мешало рассказать всю правду, но и самая направленность их интереса; от разочарования в самих себе, от удивления, что они способны на поступки, казалось бы, ненормальные, они без нужды раздувают эпизоды, более обыденные, чем это им представляется. Руссо в своей «Исповеди» рассказывает о случаях, глубоко оскорбивших чувствительных людей во всем мире. Описывая эти случаи с такой откровенностью, он спутал критерии и придал им в своей книге больше значения, чем они имели в его жизни. Это были эпизоды среди тысячи других, возвышенных или хотя бы безразличных, которые он опустил, потому что, на его взгляд,

они, как слишком заурядные, не стоили упоминания. Есть люди, которые оставляют без внимания свои хорошие поступки, но мучаются тем, что они совершили дурного. Именно этого типа люди чаще всего пишут о себе. Они умалчивают о своих похвальных свойствах и поэтому кажутся нам только слабыми, беспринципными и порочными.

V

Я пишу эту книгу, чтобы вытряхнуть из головы некоторые мысли, которые что-то уж очень прочно в ней застряли и смущают мой покой. Я не стремлюсь никого убеждать. У меня нет педагогической жилки, и, когда я что-нибудь знаю, я не испытываю потребности поделиться своими знаниями. Мне более или менее все равно, согласны ли со мной другие. Разумеется, я считаю, что я прав — иначе я бы не думал так, как думаю, — а они не правы, но их неправота меня мало трогает. Не волнуюсь я и тогда, когда обнаруживаю, что мое суждение идет вразрез с суждением большинства. Я до некоторой степени доверяю своему инстинкту.

Я должен писать так, словно я — очень важная персона; да я и есть важная персона — для себя самого. Для себя я — самая значительная личность на свете, хотя я и не забываю, что, не говоря уже о такой грандиозной концепции, как Абсолют, но даже просто с точки зрения здравого смысла я ровно ничего не значу. Мало что

изменилось бы в мире, если бы я никогда не существовал. Может показаться, что я пишу так, словно предлагаю считать некоторые свои произведения из ряда вон выходящими; на самом же деле они просто важны для меня, поскольку мне приходится упоминать о них в ходе моих рассуждений. Я думаю, что мало найдется серьезных писателей — а я имею в виду не только авторов книг о серьезных материях, — совершенно равнодушных к тому, что станет с их произведениями после их смерти. Приятно думать пусть не о том, что ты достиг бессмертия (бессмертие литературного произведения исчисляется в лучшем случае несколькими столетиями, да и то это обычно лишь бессмертие в школьной программе), но о том, что несколько поколений будут читать тебя с интересом и что ты займешь хотя бы скромное место в истории литературы своей страны. Что касается меня, то я и на такую возможность смотрю скептически. Еще на моей памяти некоторые писатели, в свое время наделавшие в литературном мире гораздо больше шума, были преданы забвению. Когда я был молод, мы не сомневались, что книгам Джорджа Мередита и Томаса Гарди суждена долгая жизнь. Но современной молодежи они почти ничего не говорят. Время от времени какой-нибудь критик в поисках темы напишет о них статью, и тогда несколько читателей возьмут из библиотеки тот или другой роман; но едва ли я ошибусь, сказав, что ничего из написанного ими не будут читать

так, как читают «Путешествия Гулливера», «Тристрама Шенди» или «Тома Джонса».

Тон этой книги может показаться догматичным, но это лишь потому, что мне очень скучно предпосылать каждой фразе оговорки вроде «я считаю» или «по моему мнению». Все, что я говорю, — не более как мое мнение. Читатель волен соглашаться или не соглашаться со мной. Если у него хватит терпения дочитать книгу до конца, он увидит, что с уверенностью я утверждаю лишь одно: на свете есть очень мало такого, что можно утверждать с уверенностью.

VI

Писать было для меня с самого начала так же естественно, как для утки — плавать. Я до сих пор иногда удивляюсь, что я — писатель: к этому не было никаких причин, кроме непреодолимой склонности, а почему такая склонность во мне возникла — непонятно. Больше ста лет мужчины в нашей семье занимались юриспруденцией. Если верить «Биографическому словарю», дед мой был одним из двух основателей Общества юристов, и в каталоге библиотеки Британского музея имеется длинный перечень его юридических трудов. Только одна из написанных им книг была другого рода. Это — сборник эссе, которые он ранее помещал в солидных журналах того времени, и выпустил он их анонимно, сообразуясь со своим понятием о благопристойности. Однажды